

АРТЕФАКТ
ДЕТЕКТИВ



РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

В основу романа положены
реальные события.



Автор выражает глубокую признательность
хирургу Н.Г.П.,
работникам Нижегородской
областной прокуратуры,
а также дорогому африканскому другу
Алесану А. Сулайе
за помощь в работе над книгой.

Часть первая

АЛЬБИНА



Длинные белокурые пряди, разметавшиеся по полу, были первым, что увидел Гаврилов, когда загнал наконец прыгающий ключ в скважину и справился с замком.

В узком длинном коридоре горел свет. В другое время Гаврилов затосковал бы по поводу такого расточительства электроэнергии, но сейчас он видел только эти волосы на полу рядом с кухонной дверью.

Гаврилов шатнулся назад, невольно выпустив поводок. Задира Мейсон радостно кинулся вперед, огласив затаившуюся тишину хозяйственным лаем, обнюхал локоны неизвестной блондинки, вцепился в них зубами, рванул — и засеменял своими коротенькими ножками к хозяину, волооча за собой спутанные пряди.

Гаврилов обморочно зашарил холодеющими пальцами по стене, силясь за что-нибудь уцепиться. Сейчас Мейсон вытащит в коридор отрезанную, жутко окровавленную голову..

Пес твякнул, требуя внимания. Гаврилов повел помутившимся оком — и увидел у своих ног длинноволосый парик. «Тьфу ты, пропасть!»

Прохладная спасительная струя сквозняка коснулась лица. Дышать стало легче, и все-таки он не переставал ожидать каких-то пакостей...

Вот именно об этих пакостях, которые следует ожидать, и думал Гаврилов те несколько минут, пока на трясущихся ногах бежал по двору и трясущимися же руками пытался отпереть дверь. Мысленно он готовился к самому худшему. Скажем, что вся квартира окажется обчищена. Но, судя по

прихожей, где на вешалке, рядом с каким-то неведомым женским пуховиком, висит дорожный кожан Рогачева, вещи не тронуты.

Однако сейчас до Гаврилова постепенно доходило, что существует нечто худшее, чем ограбление, и это худшее может его подстергать.

Гаврилова просто-таки затрясло от мрачных предчувствий и от неистового желания оказаться сейчас дома, в тепле и уюте, перед телевизором, где шла бы очередная «классика советского кино»: тоже теплая, уютная и необременительная. Знать ничего не хотелось о разбитом стекле, так внезапно бросившемся Гаврилову в глаза. На беду, можно не сомневаться!

Хотя, с другой стороны, собаку-то все равно выводить надо было. У него уже вошло в привычку выгуливать Мейсона на этом пустыре между торцом панельной пятиэтажки и фасадом аналогичной девятиэтажки — правда, недостроенной. Никому и в голову не могло бы прийти, что Гаврилов здесь не только собачку пасет, но и Рогачева!

Привереде Мейсону этот пустырь жутко не нравился: здесь оставляли свои многозначительные следы доги, сенбернары и разные прочие овчарки — этикие собачьи авторитеты. А карлик Мейсон, смесь болонки с дворняжкой, хоть и знал свое место в собачьей иерархии, все-таки терпеть не мог, когда его в очередной раз тыкали носом в это самое: с дворняжким-то рылом в сенбернарский ряд!

В этом он вполне походил на своего хозяина, который место свое на свете вообще и в московском мегаполисе в частности знал отлично (Гаврилов служил во вневедомственной охране маслозавода и был первым кандидатом на сокращение), однако не выносил чужого превосходства. Именно эти качества — барственность и неприкрытое превосходство над всем остальным миром — и взбесили его в человеке, месяц назад пришедшем смотреть квартиру, которую сдавал Гаврилов. Фамилия нанимателя была Рогачев, однако Гаврилов, который накануне смотрел по телевизору старый-престарый, хотя и подкрашенный фильм «Идиот»,

счел, что незнакомца следовало бы назвать Парфеном Рогожиным и никак иначе. Рожа у него была этакая — *рогожная*, с багровыми пятнами на щеках и опасным, затаенно буйным взглядом. Если бы Гаврилов не родился на свет бес-таланным подкаблучником, он сразу дал бы Рогачеву-Рогожину от ворот поворот. Но... где черт не сладит, туда бабу пошлет: благоверная принялась незаметно тыкать в бок, щипать за ляжки — словом, всячески обозначать телодвижениями то, что она обычно выражала словами: «Ну чего цену ломишь? Сам знаешь, сейчас денег у народа — тьфу или чуть больше, ну кто тридцать тысяч отдаст за панельную хрущобу, да еще на первом этаже, да еще с видом на пустырь? Уже год никому ее втюхать не можем. Сбавляй, сбавляй цену-то, не то упустим хорошего человека!

— Тридцать? — спросил в эту минуту Рогачев, бегая разбойничьим взглядом от Гаврилова к его напрягшейся в улыбке супруге. — А торг уместен?

— Уместен, уместен! — так и завилась винтом Гаврилова половина, а сам он...

Господи, стоит только представить себе, что его жизнь обошлась бы без тревог сегодняшнего вечера, покажи он себя тогда настоящим мужчиной, — и плакать хочется!

— Уместен, отчего же? — буркнул Гаврилов — и с облегчением ощутил, как супруга разомкнула на его тощем бедре пальцы, уже готовые к новому щипку.

По лицу Рогачева даже подобия довольной улыбки не скользнуло! Выложил задаток (сошлись на половинной цене) — и по-хозяйски двинулся «занимать апартаменты», как он выразился. Гаврилов, окончательно придавленный словом «апартаменты», тащился в кильватере, поскуливая что-то насчет цветочков, которые надобно поливать два раза в неделю отстоянной водой; штор, которые хорошо бы задергивать, когда включаешь свет, чтобы всякая шпана не зарилась на обстановку; да еще чтобы чистота блюлась в квартире, как физическая, так и нравственная, — в том смысле, что соседи недовольны, что жилплощадь сдается, значит, жить будет абы кто; ну и, конечно, чтобы хозяин,

ежели он без предупреждения наведается проверить, как и что, не оказался в неловком положении, столкнувшись с какой-нибудь...

Рогачев стал столбом, так что Гаврилов на полном ходу врезался в его широкую спину.

— Соседи умоются! — бросил новый квартиросъемщик загадочную фразу. — А если тебя вдруг занесет без спросу...

Он не стал продолжать — только повел могучим кожаным плечом, но Гаврилов всегда славился тонкостью восприятия.

И ведь послушался он Рогачева! И ведь не заглядывал в собственную, от родителей доставшуюся квартиру ни единого разочку за весь этот месяц... до той поры, когда, выгуливая Мейсона, увидел вдруг зияющую трещину в окне на первом этаже — как раз напротив щели между неплотно задернутыми (а ведь просил же! А ведь нарочно же предупреждал!) шторами.

«Соседи умоются... соседи умоются...» — эти слова так и тикали в голове Гаврилова все те долгие минуты, пока он стоял в коридоре, напряженно глядя в стену, словно хотел проникнуть сквозь нее взором и разглядеть, что делается в комнате. Почему-то страшно было шаг шагнуть.

Ну а Мейсон, убедившись, что хозяина не интересует находка, оставил возню с париком и, брезгливо скалясь, засеменял по коридору. У входа в комнату он вдруг замер, потом сел на задние лапы, задрал бесформенную кудлатую голову — и протяжно завыл незнакомым толстым голосом.

Мурашки ринулись играть в пятнашки на спине Гаврилова, и он принужден был вновь схватиться за стену. Однако кое-как справился с противной слабостью и на подгибающихся ногах дотащился до комнаты.

Шикнул на Мейсона. Однако тот, как профессиональная плакальщица, просто не мог остановиться, не доведя дела до конца, и продолжал выть.

Гаврилов осторожно заглянул... и схватился за грудь, увидав два полуголых тела, распростертых на полу в луже крови.

Стиснул руками горло, подавляя попытку ужина вновь вырваться наружу. Со странной отчетливостью он различил у себя во рту вкус вчерашних разогретых, слишком жирных оладий, задубевших от соли прошлогодних огурцов и яичницы из трех яиц с непрожаренными кусочками сала. Все это было залито сверху кружкой чаю, вкус которого тоже чувствовался самостоятельно.

Гаврилова мутило, ему было плохо, однако он почему-то не мог отвести глаз от волосатой, кустистой спины мужчины, придавившего всей тяжестью коротко стриженную женщину с грубоватыми чертами лица.

«Ее парик!» — понял Гаврилов, и от этого на диво логичного умозаключения муть перед глазами слегка прояснилась. Он смог даже осознать, что женщину видит впервые... в отличие от мужчины. Да, Рогачев запомнился в авторитетном кожане, а не в этих цветастых трусах, но это был он, постоялец! А в следующий миг Гаврилов разглядел аккуратную дырочку пониже левой лопатки Рогачева — и понял, что оконное стекло было разбито не по рогачевской небрежности и даже не хулиганским камнем.

Оно было разбито выстрелом!

* * *

— Одной пулей, говорят, их и положили — вместе, разом, — торопливо бормотала тетя Галя, всовывая Альбиныны руки в рукава халата. — Да скорей же, ну чего копаешься! Этого-то, мужика, насмерть под лопатку, прямо в сердце, ну а бабу его — тьфу, пакость! — в правое плечо. Рана-то легкая, навывлет пуля прошла, кость не задета, но она башкой стукнулась, когда падала, — вот и отшибло память.

— Ее, значит, уже и допрашивали? Да тише ты, не дергай так! — Альбина вырвалась из бесцеремонных тетушкиных рук и, изогнувшись, сама завязала сзади халат. — И что она сказала?

— Допрашивали, а как же, — кивнула тетя Галя. — Опер тут с утра парился, ждал-ждал, не пил, не ел. Так

в нее и вцепился, лишь только доктор разрешил. А она глазоньки вылупила: знать ничего не знаю и ведать не ведаю, даже имени своего, не говоря уж о том, как оказалась с простреленным плечом под убитым мужиком!

— Что, серьезно? — Альбина так и замерла с руками, вздетыми над головой. Накрахмаленный чепчик повис в воздухе. — Так-таки ничего не сказала?

— Ни-ни! Следователь как только не изворачивался, чтобы ее пронять, да все впустую. Одни охи: не знаю, не помню, не имею представления. Там, в полиции, небось думали, что она в курсе, кто стрелял в этого, как его, а она-то... Конечно, сотрясение у нее легкое, я сама слышала, как доктор следователю говорил: мало шансов было мозги отшибить, а вот поди ж ты, проверь! Полицейский так и сказал: дескать, пользуясь этим легким сотрясением, она может имитировать какую угодно тяжелую амнезию. А мне кажется, здесь без обману. Ты сама услышишь, как она воет.

— Воет?.. — опасливо оглянулась Альбина. — Как это? Плачет, что ли?

— Говорю тебе! — громким шепотом выкрикнула тетя Галя. — Волком воет! Лежит в темноте, в потолок пялится — и... Ну иди, иди уже! — прекратила она живописное описание, заметив неподдельный ужас, сверкнувший во взгляде племянницы. — Иди, а то я просто с ног валюсь, глаза закрываются.

Глаза у тети Гали между тем совершенно не намеревались закрываться, а были от возбуждения даже слегка вытарашены. И вообще, вид у нее был на диво бодрый и оживленный. Впрочем, это ничего не значило. Альбина отлично знала за своей тетушкой эту особенность: засыпать, едва коснувшись головой подушки. Можно было не сомневаться, что, стоит Альбине оказаться за дверью, тетя Галя щелкнет задвижкой, бухнется на топчан — и мгновенно обнимется с Морфеем, да так крепко, что у Альбины не будет никаких перспектив освободиться от ночной кабалы, самое малое, до шести утра. Тогда тетя Галя вприскачку прибежит на пост — посвежевшая, отдохнувшая,

взбодрившаяся, — а ее многострадальная племянница украдкой переоденется и, страшно зевая, потащится на троллейбусе сперва на Щелковскую, домой: выпить кофе и смыть под душем больничные запахи, а потом, уже на метро, на другой конец города, на Кутузовский — на работу. Совершенно непонятно, почему тетя Галя так уверена, будто Альбина сутками может обходиться без сна. Она жаворонок, у нее пониженное давление — наоборот, ей всякий недосып мучителен. Нет же. «Ты молодая! — вот и весь тетушкин сказ. — Я в твои годы, знаешь... о-го-го! Вообще не спала, ночи напролет с парнями гулеванила!»

Может быть, может быть. Хотя Альбина слабо представляла себе тетю Галю, которая бы «вообще не спала». Скорее, упустив свое ночью, она в полной мере вкушала сладкий дневной сон.

Дневной сон... О, как счастлива была Альбина, когда работала в отделе постельного белья! Тогда ей несколько раз удавалось днем вздремнуть на той роскошной италийской кровати, что выставлена в витрине универмага, размять на том великолепнейшем разноцветном белье итальянского же производства свои замлевшие косточки, облаченные в чудную, расписанную хвостатыми птицами фланелевую пижаму (made in аналогично). Теперь Альбине приходилось сидеть за огромным столом, уставленным несусветным количеством офисных прибабасов, и изображать прилежную секретаршу. Конечно, очень может быть, что у таковой должны быть забитые манеры и русский узелок на затылке, но кто сказал, что при этом лицо ее должно быть таким сонным и унылым? А лицо Альбины из-за тети Гали трижды в неделю было очень сонным и более чем унылым, так что она не без оснований опасалась, что боссы универмага уже ищут ей замену.

Ищут! Да таких замен в Москве — только свистни!

А тетушке ведь не возразишь. Сразу такое начнется... Ладно, лучше об этом не думать. Лучше верить в то, что вчера сказала Катюшка Калинина: «Если кого уволят, то явно не Богуславскую. У нее глаза до того лживые, что даже

правдивыми кажутся. А начальство любит тех, у кого светлые, прозрачные, правдивые глаза!»

Альбина с трудом подавила желание свернуть в ординаторскую, чтобы там посмотреть в зеркало: в самом ли деле у нее такие глаза, как сказала Катюшка?

Сейчас, впрочем, было не до физиогномистики. Надлежало как можно скорее оказаться рядом с пятой палатой, где лежала раненая женщина и где, собственно говоря, и было предписано находиться тете Гале (в данном случае Альбине) большую часть ее ночного дежурства.

Осторожно приоткрыла дверь и постояла, взглядываясь в темноту.

Кое-что все-таки можно было увидеть, даже не зажигая ночника: на улице полыхала могучая реклама банка. Вот интересно, подумала Альбина, говорят, будто этот банк рухнул, а реклама светит как ни в чем не бывало. Все равно как свет умерших звезд доходит, можно было бы сказать, перефразируя бывшего великого поэта. Или вот еще подходящая цитата: «Он умер, но дело его (реклама его) живет!»

Глаза постепенно привыкли к полумраку, и Альбина разглядела две кровати по стенкам узкой палаты. Около каждой громоздилось таинственно мерцающее шаткое сооружение: капельница. По информации тети Гали, обе эти капельницы были нужны как мертвому припарка. Больная слева лежала без сознания и могла отдать богу душу каждую минуту. Ну а справа находилась загадочная незнакомка. Ранение ее, строго говоря, относилось к разряду легких, сотрясение — тоже. Но все-таки жертва преступления, все-таки с амнезией... капельница была поставлена как бы для очистки врачебно-полицейской совести.

Ну, вперед!

Альбина осторожно вошла в палату и постояла над умирающей. Господи, сделай так, чтобы эта бедняжка не скончалась нынешней ночью! И опять мысли вернулись на привычный круг. Все-таки со стороны тети Гали жестоко подвергать племянницу таким испытаниям! Что из того, что Альбина живет в ее доме? Она платит тетке не меньше,

а то и больше, чем если бы снимала комнату у посторонних людей. Конечно, тетя Галя чуть что — сулит оставить квартиру племяннице... после своей смерти. Но ей едва-едва пятьдесят, а с таким несокрушимым здоровьем она еще о-го-го сколько проживет! Пусть живет, конечно... Вообще-то, это была тети-Галина идея, чтобы Альбина, приехавшая на завоевание Москвы, поселилась «у родного человека». Кстати, идея этого завоевания тоже не Альбине принадлежала, а тети-Галиной сестре, матушке Альбиной. Сама-то она предпочла бы остаться в любимом Нижнем Новгороде, ну а уж если в Москве, то поселиться в общежитии. Может быть, и прижилась бы там, и полюбила бы пединститут, куда поступила опять же по матушкиному настоянию и где отучилась, так и не поняв, зачем, собственно, время тратила? Все эти книги, которые изучали на филфаке, она и сама могла бы прочесть, в порядке личной инициативы, а идти работать в школу Альбина никогда не собиралась. Вот уже третий год перебивается случайными заработками, которые почти все уходят тете Гале. Можно, конечно, вернуться домой, в тихий, а по сравнению с Москвой — просто-таки безжизненный Нижний Новгород, но маманя ведь на мелкие полешки испилит неудачницу, которая так и не смогла закрепиться в столице, а главное — перетащить туда мать. Всю жизнь Алина Яковлевна мечтала поселиться в Москве. То, что мечту осуществить самостоятельно не удалось, как-то микшировалось, а вот Альбину за ее неудачливость матушка поедом будет есть! Нет уж, лучше оставаться при тете Гале. Она ворчлива, конечно, и не без вздорности, и скуповата порою до тоски, но против ее сестрицы — это просто шелест утреннего ветерка по сравнению с февральскими завихрюхами!

Альбина оглянулась на раненую. Вроде бы спит. Слава богу. Не слышно жуткого воя, которым грозила тетя Галя. Еще этого не хватало! И так боязно подойти к ней. Хорошо, если бы раненой ничего не понадобилось ночью: ни поильник, ни, наоборот, утка. Хорошо, если бы ночью вообще ничего никому не понадобилось!

Увы, так не бывает. Ладно, Альбина согласна поухаживать за раненой, только бы умирающая как-то протянула ночь.

Склонилась над опасной больной и вслушалась в ее чуть уловимое дыхание. Кажется, еще никому на свете Альбина так искренне не желала здоровья и долгих лет жизни, как этой почти незнакомой старухе! А тетя Галя все-таки дура. Сама себе яму роет. Или забыла, чем для нее закончилось вот такое же дежурство Альбины над умирающим в кардиологии? Строго говоря, она почти и не дежурила: у постели дремала на стуле жена инфарктника, а Альбина воспользовалась минуточкой — и прилегла на диване в коридоре. И вдруг — вопль:

— Сестра-а!

Альбина суматошно подхватила: неужели игла капельницы выскочила из вены? Вроде бы все проверено... Но тут же до нее дошло: о капельнице так не кричат, таким голосом. И на бегу грохнула кулаком в дверь ординаторской.

Выскочил дежурный доктор: помятый, всклокоченный, — видно, тоже пытался урвать минутку блаженного сна. Засветиться перед этим доктором Альбина не боялась: он был из интернов, никого из сестер толком не знал.

Вместе они на рысях понеслись в палату, откуда исторгались непрекращающиеся крики. Одного взгляда хватило понять: с капельницей-то все в порядке. А вот с больным...

Выпихнули рыдающую жену в коридор и взялись откачивать бедолагу. Ночь глухая за окном, но сна как не бывало. И кололи его, и непрямой массаж сердца делали. Наконец доктор отчаялся и притащил дефибрилятор. По тому, как задумчиво разглядывал он матово мерцающие круги, Альбина поняла, что знакомство его с этим инструментом шапочное. Не исключено, даже еще более шапочное, чем Альбино: она хотя бы видела действие дефибриллятора в кино «Забытая мелодия для флейты».

Конечно, можно было уже и не мучиться: душа несчастного инфарктника явно не стремилась вернуться в покинутое тело. Но молоденький интерн еще не забыл клятву Гиппократа, а потому сухим, ломким голосом при-

казал Альбине прижать дефибриллятор к неподвижной груди больного (только ни в коем случае не касаться металла!), а сам он будет пускать ток.

— Заряжается, есть пять киловольт!

Альбина изо всех сил притиснула круг к худой, ребристой груди, замершей в последнем вздохе, покрепче уперлась ногами в пол. Она ждала команды «Разряд!», и все же та прозвучала внезапно. Альбине показалось, будто этот самый разряд прошел сквозь ее тело.

А вслед за тем случился кошмар! Оказывается, кадры художественного фильма имели очень слабое отношение к действительности, потому что тело не просто резко, конвульсивно вздрогнуло. Нет! Конечности покойника взлетели высоко вверх — и руки заключили Альбину в жуткое объятие.

Конечно, длилось оно только миг — потом мертвые руки бессильно соскользнули и упали на пол, — однако этого мига вполне хватило, чтобы Альбина испустила дикий, нечеловеческий крик, перебудивший все больных в отделении. Всех — кроме несчастного инфарктника. И злополучной тети Гали.

С воплем «Что вы делаете, звери?!» в палату вбежала жена умершего. Бог знает, что ей померещилось, когда она увидела Альбину, в глубоком обмороке лежащую на груди покойника...

Потом был скандал. Его, к счастью, удалось замять. Тетю Галю чуть было не уволили, однако положение с медперсоналом было таким напряженным, что засоню оставили — только перевели в хирургическое отделение. Не меньше месяца — но и не больше! — Альбина весело и оживленно исполняла свою роль в витрине. А потом тетя Галя взялась за старое...

Альбина вздрогнула. Почудились шаги в коридоре? А что, если дежурный врач не такой уж лентяй, каким живописала его тетя Галя, и все-таки отправился на обход?

Скрипнула кровать. А вот этот звук уж точно не послышался. Шевельнулась раненая. Тихо застонала, пытаясь повернуться на бок.

Альбина пересилила себя — и склонилась над постелью:
— Вам что-нибудь нужно? Хотите пить? Нет, лежите на спине, на бок лучше не надо, а то повредите рану.

— Ты... кто? — выдохнула больная. Какой у нее хриплый, тяжелый шепот! Совершенно мужской. Неужели правда все то, что украдкой, захлебываясь от возбуждения, бормотала тетя Галя? — Ты кто такая?

— Сестра, — шепнула Альбина, всматриваясь в грубоватые черты. Ну и что, это еще не показатель. Некоторые женщины умеют наживать себе с годами такие личики...

— Чья? — опасно спросила больная. — Будешь уверять, что у меня еще и сестра есть?

Альбина растерянно моргнула.

— Да нет, дежурная сестра. Вы ведь в больнице — неужели и этого не помните?

— А еще чего? — жадно спросила незнакомка. — Чего я еще не помню?

— Ну... не знаю, — пожала плечами Альбина. — Говорил же следователь, будто вы очень многое забыли после удара головой.

— По-нят-но... — протянула больная. — То-то, смотрю, башка раскалывается, просто спасу нет. А где это я так тресну..

Больная запнулась, не договорив. У Альбины мороз по коже прошел. Интересная заминка!

В синюшном, бледном полусвете банковской рекламы она отчетливо видела, как больная ощупывает себя дрожащими руками. Движения были беспорядочны, путаны. Точь-в-точь так обирают себя умирающие, но глаза у больной блестели хоть и мрачно, но вполне живо.

Первым делом она ощупала длинные белокурые пряди, разметавшиеся по подушке и ее плечам. Один затейливо закрученный локон поднесла к глазам и даже понюхала.

— Парик, что ли? — спросила себя и с удовольствием констатировала: — Точно, парик.

Альбина произвольно кивнула. Тетушка говорила, что парик этой странной особе оставили нарочно. В при-

емном покое заартачились было, но полиция настояла. Дескать, надо учитывать каждую мелочь, которая позволит памяти вернуться.

Большая намотала на кулак роскошные кудри и дернула. Парик полетел на пол, а она принялась левой рукой ощупывать свою коротко остриженную голову.

Альбина пожала плечами. К чему вообще этот парик? Такие тифозные стрижки теперь носят очень многие, а если мелировать челку, вообще вид бывает очень даже недурной. Правда, челки у незнакомки не было: короткие волосы жестко топорщились надо лбом. Но все-таки ей без парика лучше. Белокурая путаница придавала лицу неприятное, лживое выражение. А так, пусть и грубоваты черты, но довольно приятны. Хотя...

Хотя без парика она еще больше похожа на мужчину.

Между тем раненая продолжала исследовать себя. Осторожно, чуть касаясь, трогала повязку, стягивающую правое плечо. На лице выражалась досада.

Рука скользнула на грудь, на живот и ниже.

Альбине стало неловко. Эта женщина с таким недоумением ощупывала собственное тело, как будто не могла его узнать! А ведь небось все, что с этим телом сделано, произошло с ее собственного согласия. Впрочем... впрочем, амнезия порою вытворяет с людьми странные штуки.

Стоп... А что, если амнезия тут вообще ни при чем?! Недавно Альбина видела по телевизору, в «Секретных материалах»: одновременно подстрелили преступника и полицейского, и когда врачам удалось одолеть клиническую смерть (кстати, не без помощи дефибриллятора!) и вернуть полицейского к жизни, в него каким-то образом вселился дух умершего преступника и начал принуждать совершать всякие гнусности, доведшие в конце концов опять до смерти. А тетка что-то такое говорила, будто эта женщина — или как ее там? — была ранена той же пулей, которой убили какого-то мужчину. Но что, если незнакомка тоже была убита? Что, если в миг убийства душа того человека вылетела из тела и через рану вселилась в новое? Теперь

она обитает в новом теле, но никак не может понять, что же с ней произошло, куда она попала? То есть перед Альбиной сейчас находится мужчина, переселившийся не просто в тело женщины, а...

Альбина мысленно постучала себя по лбу. Все, конечно, гораздо проще. Говорят, операция вроде той, которую перенес (перенесла) этот (эта)... особа, стоит безумных денег. Скорее всего, она (бывший он) просто беспокоится, все ли новоприобретенное на новом месте.

А может, тетя Галя, как всегда, что-нибудь напутала или наврала — с нее станется! — и перед Альбиной лежит самая обыкновенная женщина?

— Слушай, сестра! — В голосе чуть ли не рыдание. — А я — кто?

— Трудно сказать... — наконец проронила девушка уклончиво. А и правда — трудно! Не брякнешь ведь вот так, с бухты-барухты: «Вы — мужчина, транссексуал, недавно перенесший операцию по перемене пола!» — Вы ведь ничего о себе не рассказали. На все вопросы полиции отвечали, что ничего не помните.

— Не помню, век воли не видать! — кивнула раненая (Альбина, умаявшись тасовать прилагательные, глаголы и местоимения из рода в род, решила все-таки принять за основу женский). — Они мне: каковы, мол, отношения с Рогачевым, как попала в его квартиру и кто в него стрелял? А я ни бэ ни мэ! По идее, что-то ведь должно шевельнуться в мозгах, если его на мне чуть ли не без штанов нашли, а меня под ним, как говорят, и вовсе... — Она махнула рукой. — Ничего! Ничегошеньки! Показали мне его фотографию — опять же абсолютный нуль. И вот сейчас лежу, мозги тасую, выжимаю, наизнанку выворачиваю — а ни капли информации. Кошмар прямо! Единственное, что помню, — какую-то девочку в белой шубке. Стоит, сапожком снег ковыряет... лет семи девочка. Глазки такие светленькие. И волосики светленькие, кудерьками из-под шапки...

Шепот стал бессвязен и неразличим, а потом и вовсе стих. Больная замерла с закрытыми глазами, слабо пере-

бирая простынку крупной красивой рукой. На среднем пальце мерцал перстень — массивная печатка. Об этой печатке Альбина тоже была наслышана от тетушки. Дескать, перстень красоты и ценности невиданной, с рельефной платиновой вставкой. Полиция будто бы пыталась снять его — в целях, так сказать, пушей сохранности личного имущества потерпевшей, — да не удалось. Только если с пальцем — так вросло кольцо. А в нем не меньше тридцати граммов золота!

Алчный шепоток тети Гали прошелестел в памяти — и утих.

«Девочка со светлыми глазками, — задумалась Альбина, — в белой шубке... Может быть, у нее была дочка? Надо бы про эту девочку тете Гале сказать, пусть сообщит следователю. Наверное, это хоть какой-то след...»

Охотничья мысль была прервана порывом сквозняка. У Альбины зашевелились на шее легкие прядки, выпавшие из чепчика, а по спине снова пробежал озноб. Даже не сознавая, что делает, она невесомо отпрянула в сторону — в темноту, не тронутую мертвенными рекламными отблесками.

Фигура, стоящая в проеме двери, была неразличимо темна, однако белизну халата Альбина заметила при слабом освещении из коридора.

Так и есть. Врач притащился.

Альбина уцепилась за спинку кровати, чтобы не сбежать панически и не угробить все дело. «В случае чего скажу, что я из другого отделения, — решила быстро. — Скажу... скажу, что следователь, который сюда днем приходил, — мой знакомый, сосед, что ли, и он просил приглядеть за этой странной пациенткой».

Мысль показалась замечательной. Нет, все-таки она себя патологически недооценивает! Не столь уж она беспомощна и не приспособлена к жизни, как наперебой талдычат матушка с тетушкой! Только вот вопрос: первой поздороваться с доктором и начать объясняться или подождать взрыва его изумления?

Нет. Не стоит суетиться. Тем более что он, кажется, и не замечает Альбину в ее укромном уголке за кроватью. И вообще, доктор вроде бы не расположен к длительному осмотру. Может быть, он сейчас повернется — и...

Не повернулся, увы. Но и не сделал шага в палату. Стоял на пороге, пытаясь проникнуть взглядом сквозь синеватую полутьму.

Задремавшую больную, похоже, обеспокоил свет из коридора. Она приподнялась, опираясь на левую руку:

— Сестра? Сестра? Это вы? Пить мне дайте.

Альбина подавила милосердный порыв. Сейчас, сейчас. Вот только закроется за доктором дверь.

— Эй, кто там? — В голосе раненой зазвучал испуг. — Вам чего? Вы доктор, что ли? Ну так дайте попить.

Человек, стоявший в дверях, вошел в палату.

— Дашенька... — шепнул он чуть слышно, и Альбина почувствовала, как защемило вдруг сердце.

Кто такая эта Дашенька, чье имя он произносит с такой болью? А, вон что. Доктор перепутал ее с какой-то другой медсестрой.

«Я не Дашенька», — чуть было не заявила она, но онемела, услышав мучительный стон раненой.

Странная женщина уронила на подушку голову и забила по постели здоровой рукой. Игла капельницы вырвалась из-под полоски пластыря, но больная этого даже не заметила. Тело выгнулось дугой, с губ срывались бессвязные, хриплые звуки:

— Ты... ты пришел! Нет, нет, не надо больше! Отпусти, я не... Отпусти!

Альбина едва узнала голос раненой, так сдавил его страх.

— Тише, тш-ш! — успокаивающе шепнул доктор. — Я пришел за тобой. Пора домой возвращаться. Домой, понимаешь?

— Нет, нет! — Стриженная голова мучительно заметалась по подушке. — Больше не надо, не трогай меня!

— Вставай, вставай! — настойчиво шептал доктор. — Пора идти...

Раненая начала приподниматься, жалобно постанывая и поохивая.

— Нет, не хочу, не хочу! — слабо бормотала она, однако послушно спустила на пол босые ноги — и вдруг резко повернулась к Альбине, застывшей в полутьме так неподвижно, что она и сама, чудилось, забыла о своем существовании. — Сестра, сестра! Не отпускай меня! Спаси!

Альбину залило холодным потом от головы до пят.

Доктор угрожающе набычился, вглядываясь в нее, — и вдруг, вздрогнув, вскинул голову, замер, вслушиваясь в торопливые шаги, доносившиеся из коридора.

На миг Альбина увидела его четкий профиль, словно бы начерченный в ночи раскаленным лезвием: нахмуренный лоб с упавшей на него светлой прядкой, хищный нос, твердые губы. Нервно дернулась щека, и доктор прижал угол рта пальцем.

«У него тик, — подумала Альбина. — Нервный тик».

— Иду, иду, иду! — послышалось сладенькое пение тети Гали, и Альбина едва не рухнула где стояла, такое вдруг навалилось облегчение. — А я только на минуточку отвлеклась, список утренней раздачи лекарств проверить. Иду, Иван Палыч, вы не беспокойтесь, это я племяшку свою просто на всякий случай вызвала, присмотреть за раненой... Ой, это не Иван Палыч? Доктор, извините! Вы кто? Вы кто? Из какого отделения?

Незнакомец резко обернулся к палате.

— Я еще приду, — достиг слуха Альбины его напряженный шепот. — А теперь — спать. Слышишь? Спать!

Послышался тяжелый скрип кровати. Альбина увидела, как раненая тяжело, боком, рухнула на подушку. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Она и правда уснула!

Альбина перевела взгляд на дверь — и вздрогнула.

Никого! Станный доктор исчез!

Альбина крепче сцепила зубы, чтобы подавить дрожь. В ушах все еще звучал этот шепот: «Дашенька...» — и сдавленный хрип раненой. Вот странно: незнакомец назвал больную таким хорошим, ласковым именем, звал ее домой, а она так испугалась.

— Алька, ты здесь? — Тетушка, подслеповато щурясь, заглянула в палату. — Алька!

— Здесь я, здесь, — Альбина шагнула вперед, как всегда, раздраженная этой собачьей кличкой, которая не сходила с теткиного языка. При этом Галина Яковлевна натурально на стенку лезла, если кто-то называл ее Галькой. — Тише, не шуми. Всех перебудишь.

— Кто это был, а? — Тетя Галя закрыла за собой дверь и зажгла ночничок.

Альбина перевела дыхание. Только сейчас она поняла, как давила, как угнетала эта синюшная мгла! Устало покачала плечами:

— Откуда мне знать? Доктор какой-то.

— Док-тор? — Тетя Галя с сомнением покачала головой. — Если доктор, чего же он так чесанул от меня по коридору? Только пятки засверкали. И не к лифтам, а к боковой лестнице, чтоб на черный ход... Интересно!

Альбина промолчала. Хотелось прекратить этот разговор как можно скорее. Какая-то темная жуть шевелилась в душе, стоило только вспомнить его шепот — и как рухнула на подушку раненая женщина, как зашлась тяжелым сопением...

— Сестра! — донесся лихорадочный шепот. — Сестра, ты здесь?

— Тут я, тут! — успокоительно зажурчала тетя Галя. — Чего тебе? Уточку? Или попить?

Раненая припала к поильнику, сделав несколько жадных, хлюпающих глотков. Отстранилась. Вытерла рот рукой. Слабо блеснул перстень... И вдруг вцепилась в халат тети Гали:

— Спасите меня! Спрячьте меня! Не пускайте его!

Тетя Галя, от неожиданности едва не брякнувшая наземь поильник, с профессиональной ловкостью высвободилась:

— Да ты что? Нет тут никого. О чем ты?

— Не знаю... не помню!

Больная опрокинулась на спину. Перекатила голову по подушке, завела глаза к Альбине:

— Но тут был кто-то. Вот она видела. Видела, ну скажи? Альбина, перехватив молниеносный тети-Галин взгляд, нерешительно покачала головой.

— Не было тут никого, — выдавила она и чуть не сморщилась, до того фальшиво прозвучал ее голос.

Тетя Галя досадливо причмокнула. Поверила ли больная, осталось неизвестным. Она зажмурилась; из-под крепко сжатых, дрожащих век медленно выползла слеза.

Альбине стало стыдно. Ну чего они с теткой издеваются над этой бедолагой, у которой и так ничего нет: ни имени, ни памяти, ни даже пола? Чтобы как-нибудь дать выход внезапно проснувшейся жалости, натянула одеяло на вздрагивающие плечи, одернула сбившуюся простыню. И с тоской воззрилась на тетю Галю, которая склонилась над второй больной. Неужели тетушка сейчас отправится досыпать и опять оставит Альбину одну? А если вновь заявится тот... доктор?

— А мать твою так и этак! — не то изумленно, не то сердито сказала вдруг тетя Галя. — Надо же, вот старая дура, до утра дотерпеть не могла!

— Что, простыни менять будем? — уныло спросила Альбина.

— Какие простыни! — взвилась тетя Галя. — Ты что думаешь, она обделалась? Как бы не так! Померла, зараза!

Сокрушенно покачала головой:

— Ну, все, кажется, я поспала! Вся ночь псу под хвост. А ну, мотай отсюда, Алька. Чтоб через минуту духу твоего в отделении не было. Черный ход открыт, там пройдешь. Давай-давай, а я за Иван Палычем пошла.

Тетя Галя бесцеремонно вытолкнула племянницу из палаты, хотя никакой особой нужды в том не было: Альбина и сама спешила со всех ног, не чая оказаться как можно дальше. Но не только неиссякаемое желание выспаться вымело ее из больницы как метлой. Страх гнал... страх, что за поворотом мелькнут вдруг широкие плечи, обтянутые белым халатом, бритвенно-четкий профиль с упавшей на лоб светлой прядью, снова послышится отнимающий силы шепот...

Обошлось: никто на нее не накинулся ни на лестнице, ни в коридоре. Альбина даже успела на последний троллейбус, так что не пришлось тратиться на такси. И все же долго еще колотилась дома под одеялом, не в силах согреться и уснуть, снова и снова слыша это пугающее, надрывное: «Дашенька... Дашенька...»

* * *

Первый раз Кавалеров увидел своего отца с вертолета. Раньше он думал, что самое страшное, виденное им в жизни, — та черная марь на берегу Анадырки. Несколько обгорелых колышков торчали из вечной мерзлоты. Между колышками бродили олени, пощипывая мягкими, замшевыми губами ягель.

Кавалеров споткнулся о колышек и чуть не упал. Рассердился, хотел выдернуть его из земли — не удалось.

— Пупок развяжется, — сказал тогда проводник. — Не выдернешь.

Кавалеров удивился. Земля, что ли, удержит? Мерзлота мерзлотой, а лето на дворе, так и пляшет все под ногами, будто идешь по мшаве где-нибудь на родимой Нижегородчине. И перед ним не бог весть что — всего-навсего колышек, какие забивают, чтобы закреплять углы палаток. Одним ударом топора вгоняют их в землю — чего бы не вырвать?

Просто из озорства попробовал дернуть еще раз. С тем же успехом. Только поясницу заломило. Смех один! На лесоповале такие кряжи ворочать приходилось, а тут на колышке полуметровом мышцу сорвал. Да бог бы с ней, со спиной. Почему-то показалось, что колышек этот уходит в самую глубь земную — далеко-далеко, будто корень давно срубленного дерева.

— Гнали тут колонну, — неохотно пояснил проводник. — Еще в сороковом году. Ну, стали ночевать. Палатки разбились. А среди ночи в одной пожар вспыхнул. Коптилка опрокинулась или еще почему — черт его знает.

Пламя мигом перекинулось на другие палатки. Люди выскакивают — горящие люди, бросаются кто куда. Ночь, тундра... человек на три шага отбежит — и поминай как звали. Ну, начальник колонны дал приказ окружить палатки и стрелять. Вот уж правда, что было — из огня да в полымя. Положили всех. И трупы, и недострелянных кидали прямо в пожарище. Потом здесь долго еще песцы да росомахи хозяйничали, подьедали, что не сгорело дотла. А начальника колонны все равно под суд отдали: мол, многие могли убежать. Сдох где-то на этапе, а может, придавили его, когда слух прошел про те дела...

— Но все-таки ушел кто-нибудь? — спросил Кавалеров.

— А то! — после некоторого молчания буркнул проводник. — Уходили некоторые, рассказывают. Только разве вот так, в чем есть, по тундре уйдешь далеко? Немало косточек окрест белеет среди морошки.

Кавалеров ни о чем больше не спрашивал, только задумчиво смотрел на обугленный столбик посреди бесцветного, как бы пожухлого ягеля. Да уж, неудивительно, что кажется, будто эти невеликие колышки намертво в мерзлоту вросли. Точно, точно — пустили корни и доросли до середины земли, а то и всю ее насквозь пронзили. Проклюнулись деревцем на той стороне земного шара, в какой-нибудь благополучной Канаде или вообще в Австралии, хрен бы ее взял. Сидит под тем деревцем благополучненький буржуйчик и в толк не возьмет, отчего видятся ему в сени этого деревца жуткие сны про ночь, про мороз, про пустыню белоснежную, про тощих, измученных людей, бегущих из огня — и нарывающихся на пули... своих же, таких, как они, братьев по крови и рождению. Хотя... есть же притча: «— Кто тебе выколот око?» — «Брат». — «То-то же так глубоко!»

Тогда Кавалеров еще молодой был, глупый, мало чего знал. Это уж потом он убедился, что на планете Колыма всякое бывает. Как-то раз подрядился в геологическую партию разнорабочим. Шли на точку, думали, ночевать придется прямо в чистом поле, ан нет — наткнулись на обветшавший барак. Обрадовались: захмарило что-то, уже

и дождь начал накрапывать, а в бараке сухо и даже, можно сказать, чисто. Стекла почти все целые — чудеса, словом.

Кавалеров с напарником, еще одним таким же, как он, быстрым эком, вошли в комнату, зажгли фонарь. Вдруг дверь открывается и входит какой-то мужчина. Кавалеров глядит и думает: вроде бы не наш. И не сразу сообразил, что мужик-то — в чем мать родила. И тут они с напарником еще больше удивились. Вслед за тем мужчиной вошла женщина — тоже раздетая. За ней — двое ребятишек. И все молчаливые такие, серьезные! Не глядя по сторонам, прошли по комнате и один за другим исчезли в стене, будто в настезь распахнутой двери...

Было это, было. Окажись Кавалеров тогда один, еще можно бы что-нибудь... как-нибудь... закреститься, что ли. Но вдвоем же оказались! И напарник с таким воем бежать кинулся! Это уж точно не померещилось Кавалерову. А его самого потом еще долго трясушка была, стоило вспомнить.

Но и это оказалось еще не самым страшным. А вот когда вертолет завис в Сусумане над Долиной смерти...

Огромное ледяное поле, на котором почему-то не задерживается снег. Вертолет опустился, как мог низко, поземка взвилась вихрем, отлетела с темного, прозрачного льда.

Кавалеров увидел тела и лица. Лед играл под солнцем, и казалось, будто тысячи людей ворочаются на земле, не в силах встать. Смотреть на это было невыносимо, но Кавалеров все-таки смотрел.

Солнце сходилась и расходилось дымящимися снежными столбами. Меркнул короткий проблеск полярного дня. Что-то трепетало, вздыхало вокруг... то ли рыдало, то ли давилось сухим старческим смехом, Кавалеров никак не мог понять. Он не слышал гула вертолета — а эти звуки, тонко дрожащие в небесах, слышал.

Опять поглядел вниз. Один из тысячи, лежащих там, под слоем льда, резко взмахнув рукой, обратил прямо на

Кавалерова взгляд темных, провалившихся глаз. Улыбка чуть коснулась обветренных, покрытых коростой губ.

— Улетаем! Давай отсюда! — закричал кто-то рядом истошным, нечеловеческим голосом, и Кавалеров какое-то время тупо смотрел на человека, который на подламывающихся ногах пытался добраться до пилота, — прежде чем сообразил, что это столичный журналист, ради которого, собственно, и затевалась эта поездка.

Вертолет резко клюнул вниз, и какой-то миг Кавалерову казалось, что они сейчас врежутся в оживший, дышащий, расступающийся лед. Но нет — словно подброшенная некоей силой, летающая машинка выправилась, набрала высоту, бодро потянулась на восток, в темноту возвращающейся ночи.

Кавалеров оглянулся. Души тех, что лежали там, подо льдом, реяли на закате, кричали тонкими протяжными голосами, словно птицы, испугнутые с гнезд.

— Я уж думал, все, гикнемся в эту льдину, — виновато сказал потом, на аэродроме, журналист, суетливо суя деньги и бутылку спирта пилоту и Кавалерову. — Никогда со мной такого не было. Точно — думал, разобьемся!

— Пустой звук, — хмыкнул пилот. — Не бывало еще такого, чтоб в этих местах... Они могилу свою берегут, чужих отталкивают. Хоть на полметра от кромки льда, а вытолкнут машину — только бы от себя подальше.

Журналист смотрел непонимающе, дрожа губами, но пилот только рукой махнул:

— А, ладно. И стыдиться тут нечего. Редко у того, кто это впервые увидит, душа из тела не рвется. Такие крепкие ребята, как этот вон, — кивнул на Кавалерова, — редкость.

Кавалеров ничего не ответил. Отвернулся.

Хвалить его было не за что: у глаз, в горле стояли слезы.

Отец. Так вот где мы встретились, отец!..

Потом он еще не раз приезжал в Долину. Стоял на кромке льда. Хотел пойти поискать отца, но так и не решился. По тропам идти? Он был готов — только не по этим

трупам! К тому же опасался, что отец захочет оставить сына у себя, а было еще не время. Не время!

Кавалеров тогда работал в морге городской больницы, сторожем. При морге был анатомический театр мединститута, и Кавалеров иногда видел, как студюзусы потрошат трупы. Сначала молодняк рвет с этого зрелища, а потом глядишь — пьют кефир, булочками закусывают, сидя над распотрошенным человеком и зубря: — Фациес артикулярис супериор... туберкулум майор...» — и всякое такое.

Ходили в морг и врачи. Чаще других Кавалеров видел там одного: низенького, бледного, с вечно потным лицом. Он был похож на старого мальчика и носил смешную фамилию Щекочихин. Вот упертый был мужик! Год, не меньше, самолично вскрывал трупы детей, умиравших один за другим от неведомой, неизлечимой хвори. Это в Магадане был настоящий бич: смерти детей. Не меньше полтыщи померло один за другим. И чуть ли не всех исследовал Щекочихин.

Постепенно Кавалеров с врачом сошелся ближе и даже помогал ему. Ну, трупик подаст, какой надо, внутренности в физраствор сложит. Да мало ли! Ассистировал, словом. Иногда разговаривали, хотя Щекочихин вообще-то был не говорлив. Но нашел, нашел-таки он причину смертельной болезни! Кавалеров прочел об этом в «Чукотской правде» и со странным тщеславием подумал, что тоже причастен к открытию Щекочихина, который на этом деле защитил сразу и кандидатскую, и докторскую диссертации.

Теперь на прием к Щекочихину началось просто-таки паломничество. Очередь записавшихся растянулась чуть ли не на год, родители больных детей на него молились. Но в морг он ходил по-прежнему. Только стал еще молчаливее.

А потом его как прорвало:

— Скольких я детей спас, а что получил за это? Десятку к зарплате прибавили? На кафедре у всех рожи от зависти оловянные стали. Плевать им на то, что малыши больше не мрут как мухи. Плевать на то, сколько я сил положил, дневал и ночевал в трупарне. Главное, что этот недоносок Щекочихин (они меня так втихаря называют) вдрут

р-раз! — и возвысился над ними, р-раз! — и... — Он махнул рукой и огляделся с тревожным, странным выражением. — И никому дела нет, что я чуть не оглох здесь. А главное, мне и самому все это вроде бы уже не важно. Ни радости, ни гордости не ощущаю. Только в ушах по-прежнему звенит...

И он снова огляделся с тем же диким видом, вытягивая шею и тараща блеклые глаза, и без того бывшие навывкате. А Кавалеров тогда впервые подумал, что Щекочихин, пожалуй, немного того... не в себе.

А он все больше привыкал к Кавалерову и разговаривал с ним все охотнее. От Щекочихина тот, собственно, и узнал про Долину смерти, благодаря ему познакомился с пилотом, который согласился бы туда отвезти. Очень, очень советовал там побывать! «Знаешь, — говорил, — какая там аура... Тончайшая, трепетная... Я ездил туда заряжаться. Души заключенных свили там себе гнездо и дежурят, как на посту. Меня они не любят, но все-таки подпитывают».

«Точно, спятил мужик», — опять подумал тогда Кавалеров. Однако потом, поглядев в глаза мертвому отцу, он уже рассуждал иначе. Сходство своих ощущений и слов Щекочихина его поразило!

Потом они с доктором общаться перестали. Кавалерову до того обрыдло в морге, хоть вешайся. Да и Щекочихина он уже видеть не мог, со всеми его фокусами. Тот совсем свихнулся: вдруг начал вводить трупам наркоз. А когда увидевший это Кавалеров чуть не грянулся оземь от ужаса, пояснил с этим своим безумным и в то же время убедительным выражением:

— А разве ты не слышишь, как они плачут, когда я их вскрываю? Маленькие ведь. Младенчики. Больно им... Да не смотри ты на меня, как на идиота! — вскричал вдруг, впадая в один из тех необъяснимых приступов ярости, которые внезапно накатывали на него — и так же внезапно сходили на нет. — Знаю, что говорю. Я как-то разговаривал с рабочими крематория. Так вот: они, отправляя гроб в печь, тоже слышат крики! А как же, закричишь тут небось, когда огонь кругом, когда от тебя в минуту остается один пепел...

Жуткие разговоры, конечно. Однако, если честно, Кавалеров не столько из-за Щекочихина с этой работы ушел, тем более что тот опять изменился, притих, глупости болтать перестал и бросил колоть им наркоз. Платили в морге маловато, а Кавалеров в это время уже твердо решил: пора подаваться на материк.

Сезона два-три он ездил с артелью старателей. Да, вот где были заработки так заработки! Чуть ли не больше того, что некогда случалось Кавалерову выручать за карточным столом. Да уж, на ловкости своих рук он мог бы сделать состояние, но... однажды ловкость эта уже довела его... Вспоминать не хотелось! И он накрепко зарекся, стараясь держать слово.

Однако первые свои честно заработанные деньги Кавалеров спустил, как дурак. Давненько не держал в руках столько деньжищ — вот и ошалел. После возвращения с поля сняли на три дня кабак — и гудели днями и ночами. Кавалеров знал, что такое настоящая гульба. Это когда берешь толстенькую пачечку четвертных, на худой конец — червончиков, тасуешь, будто колоду карт, наслаждаясь взглядами официанток или девок, которые слетались откуда-то на запах деньжищ, как мухи на мед, — а потом поджигаешь этот веер драгоценный. Если пачка тугая, в банковской упаковке, деньги плохо горят. А стоит расшеперить их, разворошить, свободы дать... Вот именно — стоит! Чтоб посмотреть на лица официанток, как они от злости давятся, от зависти. Потом швырнешь бумажки под стол — и свора готового на все бабья ныряет следом, матерясь похлеще бичей и чуть ли не зубами вырывая друг у дружки смятые денежки с горелой кромкой.

Вот так Кавалеров, вспоминая дни золотые, молодые, и прожег чуть ли не все заработанное. На оставшемся едва дотянул до нового сезона. Но после возвращения он уже в кабак — ни-ни! Все деньги прямиком отнес в сберкассу. Прямо как на плакате получилось: «Кто куда, а я в сберкассу!» И так же поступил в следующий сезон, и в новый,